

Александр Куприн

Погибшая сила



Александр Иванович Куприн

Погибшая сила

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2472665

Аннотация

«Яркие краски весеннего заката уже начали понемногу закрадываться сквозь огромные византийские окна пустого собора, оживляя позолоту причудливых орнаментов и согревая розовый мрамор иконостаса, когда Савинов с трудом оторвался от работы. Спустившись с высоких подмостков, художник отошел шагов на тридцать от своей картины и приковался к ней внимательным, напряженным взглядом своих маленьких, острых, чуть-чуть прищуренных глаз...»

Содержание

Александр Иванович Куприн Погибшая сила

Яркие краски весеннего заката уже начали понемногу закрадываться сквозь огромные византийские окна пустого собора, оживляя позолоту причудливых орнаментов и согревая розовый мрамор иконостаса, когда Савинов с трудом оторвался от работы. Спустившись с высоких подмостков, художник отошел шагов на тридцать от своей картины и приковался к ней внимательным, напряженным взглядом своих маленьких, острых, чуть-чуть прищуренных глаз. Прямо перед ним во всю высоту запрестольной стены рельефно выделялось на золотом фоне почти оконченное изображение богоматери с младенцем на руках. Все дышало наивной и глубокой верой в этой картине: и золотое небо – торжественное, полное чудес и тайн библейское небо, и синие, тонкие утренние облака, служащие престолом группе, и трогательное сходство в лицах матери и ребенка, и милые изумленные личики кудрявых ангелов. И тем могущественней, тем неотразимей должно было очаровывать и умилять зрителя божественно-прекрасное лицо богوما-

тери – кроткое и вместе с тем строгое, с этими как будто проникающими в глубь времен очами, полными безмолвной, покорной скорби.

В соборе было тихо. Только где-то высоко, под самым куполом, щебетали вперебой неугомонные воробьи. Лучи солнца наискось тянулись из окон золотыми пыльными полосами. Савинов все стоял и глядел на картину. Теперь он со своими длинными, небрежно откинутыми назад волосами, с бледными, плотно сжатыми губами на худом аскетическом лице как нельзя больше походил на одного из тех средневековых монахов-художников, которые создавали бессмертные произведения в тишине своих скромных келий, вдохновляясь только горячей верой в бога и бесхитростной любовью к искусству и не оставляя потомству даже инициалов своих имен. Священный восторг и радостная гордость удовлетворенного творчества наполнили душу Савинова. Мечты об этой русской богоматери он лелеял давно, чуть ли не с самого детства, и вот она возвышается перед ним во всей своей строгой и чистой красоте, и все убранство огромного храма, вся его царственная роскошь как будто бы служат для нее сплошной великолепной рамкой. Здесь, в этой гордости, не было места мелочному профессиональному тщеславию, потому что Савинов относился очень холодно к своей известности, давно перешаг-

нувшей за пределы России. Здесь артист благоговел перед своим произведением, почти не веря тому, что он сам, своими руками создал его.

Между тем восьмичасовая непрерывная работа на подмостках давала себя знать: руки у художника ныли, ноги и спину ломало от долгого и неудобного сидения. Савинов вышел на широкое гранитное крыльцо собора и жадно, всей грудью вдохнул свежий весенний воздух. Как все звонко, радостно, ароматно и красиво было вокруг! Около собора разноцветными красками пестрел ковер подстриженной декоративной зелени; дальше через дорогу тянулись в два ряда высокие, стройные пирамидальные тополя бульвара, обнесенного легкой сквозной решеткой; еще дальше виднелись густые шапки деревьев общественного сада. Среди дня прошел крупный дождик, и теперь обмытые листья тополей и каштанов блестели точно по-праздничному. Откуда-то несло благоухание мокрой, освеженной дождем сирени. Небо стало к вечеру гуще и синее, а тонкие белые ленивые облака порозовели с одного бока. В воздухе зигзагами низко носились, чуть не задевая лица, резвые, проворные ласточки, и как-то странно гармонировал с их веселым стремительным визгом протяжный и грустный звон отдаленного колокола.

Савинов тихо пошел вдоль бульвара, расправляя

уоставшую грудь медленными, глубокими вздохами и с наслаждением любуясь видом красивого южного города, томно отдающегося наступающему весеннему вечеру. Уроженец дальнего севера, выросший в привольно бесконечных сосновых лесах, он все-таки страстно любил своеобразную красоту больших городов. Он любил кровавый я безветренный закат солнца после студеного зимнего дня, когда здания фантастически тонут в легкой сизой дымке, пронзительно визжат полозья и дым из труб идет, не колеблясь, прямо вверх густым белым столбом; любил большие улицы в жаркие летние праздничные дни, с нарядной толпой, с яркой пестротой женских туалетов, с морем раскрытых цветных зонтиков, насквозь пронизанных солнечным светом и теплом; любил летние лунные ночи: резкие синие тени от домов, лежащие зубчатой полосой на мостовой, отражение месяца в черных стеклах окон, осеребренные крыши, черные силуэты прохожих; любил ранним летним утром забраться на рынок и любоваться на груды сочной мокрой зелени с ее острыми, пронзительными и приятными запахами, на свежие лица торговков, на мелочную и живую базарную суету; любил среди кипучего городского водоворота неожиданно отыскать тихий архаический переулок, уединенную старинную церковь, поросшую влажным мхом, или натолкнуться на яркую, полную

движения народную сцену.

– Пардон, мусью! – раздался вдруг над ухом Савинова хриплый мужской голос, и в лицо художнику пахнул такой букет перегорелого вина, что он невольно остановился и отшатнулся.

Перед ним стоял мужчина в рваном холщовом летнем пиджаке, в разорванных на коленях панталонах и в опорках на босу ногу, еще не старый, но уже согнутый той обычной согбенностью бродяг и нищих, которая приобретается от привычки постоянно ежиться на холоде, тесно прижимая руки к бокам и груди. Лицо у него было испитое, пухлое и розовое, шире книзу, с набрякшими веками над вылинявшими, мокрыми глазами, с потресканными и раздутыми губами, с нечистой, свалявшейся в одну сторону черной бородой. Этот человек держал в руках рваную шапку. Черные спутанные волосы беспорядочно падали ему на лоб.

– Пардон, мусью! – продолжал он трагической интонацией и возвышенным языком «интеллигентного» нищего, – обращаюсь к вам не как презренный бродяга, а как некогда благородный и порядочный человек. Не откажите во имя человеколюбия уделить несколько сантимов на обед бывшему стипендиату Императорской академии художеств. Поверьте честному слову, мусью, – продолжал оборванец, следя жадными

глазами за тем, как Савинов достает из кармана кошелек, – что только злая ирония судьбы заставляет меня протягивать руку за помощью. Бывшая надежда артистического мира и... уличный нищий – согласитесь, контраст поистине ужасный...

Чуть заметная добродушная усмешка тронула бескровные губы Савинова.

– Так вы были в академии? В каком же году?

Оборванец вдруг принял комически гордую позу.

– В 187*-м, милостивый государь, окончил оную! – воскликнул он с пафосом и с силою ударил себя кулаком в грудь. – А в 187*-м был отправлен на казенный счет в Италию-с.

Савинов пристальнее взглянул в лицо нищего: и протянул ему несколько мелких серебряных монет.

– Охотно верю вам, что вы были в академии, – сказал он со свойственной ему мягкой улыбкой. – Только, видите ли... вам не совсем бы удобно было говорить мне об этом, потому что я сам... окончил академию годом позже вас, но... должен признаться, что не видел вас ни разу.

Глаза оборванца вдруг забегали по сторонам, пухлое лицо из розового сделалось красным и сразу все покрылось мелкими каплями пота.

– Вы мне не верите? – прошептал он, низко опуская голову. – Моя фамилия Ильин. Никифор Ильин.

– Ильин! – воскликнул Савинов так громко, что проходившая в это время какая-то дама вздрогнула и обернулась. – Батюшки, да ведь я вас теперь совсем узнал. Что же это с вами, голубчик?

Только теперь Савинов дал себе отчет в том, что несколько минут тому назад ему на мгновение мелькнуло в лице оборванца что-то знакомое. И тотчас же, с присущей художникам яркостью зрительной памяти, перед ним всплыл тот момент, когда он в первый раз увидел Ильина. Академическая курилка, слоистые облака сизого табачного дыма, в котором движутся неясные силуэты, сплошной говор, смех... Кто-то торопливо толкает Савинова под локоть и шепчет: «Смотри, смотри... вон у подоконника стоит Ильин: черный, с длинными волосами. Теперь смотрит в нашу сторону». Савинов быстро оборачивается и видит худощавую, гибкую фигуру, небрежно облокотившуюся на подоконник, бледное лицо, живописную гриву длинных волос, чуть-чуть пробивающиеся усы и бородку и пару чудных темных глаз. Ильин слушает какого-то коротенького краснощекого толстяка, и эти великолепные выпуклые блестящие глаза искрятся умом, вниманием и тонкой насмешкой... О, как все это было давно... И все-таки стоящий перед Савиновым бродяга – несомненно Ильин, тот самый легендарный Ильин, имя которого долго не сходило с языка

у всех профессоров и студентов. Есть в каждом человеческом лице какие-то неуловимые, загадочные черточки, которые не изменяются в нем от детского возраста до старости, точно так же, как есть такие же нотки в тембре каждого голоса, по которым через десять, двадцать лет признаешь человека, как бы он ни огрубел, ни опустился, ни зачерствел и ни пал...

– Так вы Ильин? – растерянно и жалостливо бормотал Савинов. – Господи, как же это неожиданно... Ведь я вас помню, прекрасно помню.

– Что же делать... обстоятельства... покатился под гору, – отрывисто и угрюмо отвечал оборванец, отворачивая вбок свое расплывшееся лицо. – Встретишь кого из старых товарищей... перебегаешь на другую сторону... стыдно... образ человеческий потерял... Дозвольте, господин, – в голосе Ильина сразу зазвучала искательная, рабская интонация забитого человека, – дозвольте узнать вашу фамилию?

Савинов назвал себя. Ильин вдруг весь встрепенулся, и глаза его широко раскрылись.

– Савинов?.. Тот самый, что в соборе?.. Знаменитый?..

– Ну, уж и знаменитый. Это вы слишком сильно, голубчик.

– Но это вы? вы?

– Ну я, если хотите...

– Родной мой, видел. Своими глазами видел, – воскликнул Ильин, и что-то похожее на умиление затеплилось в его опухших глазах. – Господи, красота-то какая! Ручку мне пожалуйста, ручку... не откажите.

Савинов дружески-открытым жестом протянул руку и не успел отнять ее, как почувствовал на ней холодное и мокрое прикосновение губ Ильина.

– Фу! Как вам не стыдно! – сказал он укоризненно и краснея. – Разве можно такие вещи делать?..

Ильин приложил обе руки к груди крестом и изо всей силы сжал их.

– Господин Савинов! Не вам руку целую, – выкрикнул он восторженно. Русскому гению руку целую... Я – мертвый человек – новую зарю приветствую в вас.

Савинов в замешательстве оглянулся по сторонам. Вокруг них уже начала собираться глазющая публика: мальчишка в белом переднике, с рогожным кульком под мышкой, две девицы в платочках, щелкающие подсолнушки, какой-то подержанный господин в цилиндре, торговка с двумя корзинами, надетыми на коромысло. Стоять здесь дольше было неловко. Но в то же время нельзя было оставить Ильина, бросить его на произвол судьбы, отделавшись от него несколькими копейками. Этого не позволяла Савинову его деликатная, бесконечно мягкая натура.

– Знаете что, Ильин, – вдруг нашелся он. – Идем-

те-ка ко мне в гостиницу. Я теперь один-одинешенек, и вечер у меня свободный. О старине потолкуем. Идем-те...

– Одет-то уж я больно того... – замялся Ильин.

– Э, пустяки какие. Да, наконец, у меня есть, кроме общего хода, свой отдельный ход, и ключ постоянно в кармане. Закусим чем бог послал, поболтаем. Может быть, и придумаем что-нибудь сообща. Идем. До меня отсюда всего два шага.

– Видел я вашу картину. Созерцал, наслаждался и плакал, – беспорядочно и восторженно бормотал Ильин, идя рядом с Савиновым и поминутно сбегая с тротуара на мостовую, чтобы дать дорогу встречному прохожему. – Потрясла она меня до самого нутра. До остолбенения. И ведь как это случилось странно. Иду я мимо собора. Глядь, подъезжают четыре коляски, всё собственные, и останавливаются у входа. Вылезают какие-то дамы, должно быть, аристократки, и с ними генерал и два штатских. Пошли они в собор. Ну, сторожа, понятно, за ними следом кинулись. А я тем временем – шмыг и проскочил во внутрь. Что греха таить, пьяненький я в ту пору был, а потому и храбрый, а на счастье и полиции кругом не случилось. Да-с. Вошел я в собор, да так, знаете, к полу и прирос. В дрожь меня кинуло. Стоит она на высоте, точно парит в воз-

духе, непорочная, чистая, прекрасная, и глаза большие такие, ясные, кроткие, прямо на меня в упор смотрят, но не гневно... Нет! Смотрят печально так, жалостно. О господи! А я-то нетрезвый, гаденький, грязный, в отрепьях, только из вертепа вырвался... Жутко мне сделалось, а глаз отвести не могу... И вдруг меня точно толкнуло что-то. «Боже мой, – думаю я, – да ведь это моя мечта, ведь этот самый идеал я носил в душе, когда она еще была чиста, ведь и я мог бы создать что-нибудь похожее на этот божественный образ». Страшный это был момент, господин Савинов. Страшный потому, что я вдруг сразу необычайно ясно понял, ощутил и измерил ту глубину, в которую я полетел вверх тормашками... Заплакал я... Ну, конечно, подошел сторож. «Тебе чего здесь нужно, босяк, пьяная морда?» Мигом выволок меня из собора и с лестницы. А я... что же мне еще оставалось? Нарезался я в этот день, как скотина, и все ревел. Потом подняли меня без памяти... ночевал я в участке. Эх! и говорить-то гадко!

Савинов слушал, не перебивая, эту горькую, отрывистую речь, и все больше и больше стеснялось его сердце болезненным состраданием к этому несчастному человеку. Через какой длинный ряд унижений и нравственных пыток должен был он пройти, прежде чем очутиться на улице в своем холщовом пиджачке

и разодранных панталонах? А ведь в нем, без сомнения, погиб огромный самобытный талант. Савинову вдруг вспомнился отзыв об Ильине, еще в тогдашнее академическое время, одного старого, пунктуального, заматерелого в классических традициях профессора. «Из этого Ильина талантище так и прет. Ни с каким масштабом к нему не подойдешь», – говорил обыкновенно профессор. И это мнение безмолвно разделяла вся – обыкновенно так жадно ревнивая к успеху – злоязычная среда товарищей художников. В то время, когда другие робко шли за великими мастерами, в Ильине уже намечался крупными чертами оригинальный, свежий талант, вырабатывающий свои убеждения, свои приемы, свой рисунок и свое понимание природы. Он как будто бы на целую голову стоял выше своих сверстников. К нему прислушивались, ему подражали, его удивительные работы привлекали всеобщее внимание. Около него уже образовался небольшой кружок новаторов, презиравших всякие «измы», направления и школы и требовавших от искусства безграничной широты замысла и смелости исполнения. Однако в вожаки партии Ильин никогда не лез; он был слишком скромн, мягок и застенчив для этого. Жизнь он вел суровую, почти спартанскую, и отдавался работе с каким-то священным упоением. Правда, были и в то время в академии бездарные рабо-

тяги, которые отсутствие таланта заменяли раболепством перед профессорами и упорной, нечеловеческой усидчивостью. Они возбуждали в товарищах жалость и презрение. Но к Ильину, к его аскетическому образу жизни, к его изумительному трудолюбию, к его отчужденности от безалаберной художнической богемы все относились с внимательным почтением. Чувствовалось, что он не хочет разбрасывать даром своих огромных сил, а посвящает их исключительно на служение искусству.

Савинов помнил, каким шумом была встречена на конкурсной выставке картина Ильина «Праздник у Степана Разина». Весь художественный Петербург сбегался смотреть на нее. Газетные критики называли ее эпохой в истории русской живописи. Ильина отправили на казенный счет в Рим. Потом он как в воду канул, требуемой работы в академию не представлял и не давал по этому поводу никаких объяснений. Никто не мог сказать утвердительно, возвратился ли он обратно в Россию или остался за границей; даже не знали, жив ли он. О нем, правда, изредка вспоминали в своих тесных кружках старые художники. Бывало, когда уже достаточно по-злословили насчет отсутствующих, кто-нибудь вздохнет о том, что с каждым годом переводятся старые таланты, а новых что-то не видно. «А прежде-то, господа, помните?» И тут

непременно выступал на сцену Ильин, личность и талант которого сквозь призму времени приняли размеры прямо-таки легендарные. Одно время пронесся было слух, что кто-то из художников видел Ильина в одесской гавани, таскающим кули, но слух этот скоро замер, и на него большого внимания не обратили.

Лакей во фраке и в белом галстуке вошел в номер с приборами в обеих руках и ногой прихлопнул за собой дверь. Он был настолько хорошо выдрессирован, что не позволил себе грубой выходки (к тому же Савинов хорошо давал на чай), но по тому, как он умышленно небрежно ставил на стол тарелки, по тому, как смотрел искоса на Ильина, не поворачивая к нему головы, по холодному достоинству, с каким он выслушивал заказ, видно было, что он возмущен и за себя и за репутацию заведения до глубины души. Ильин сидел на кончике кресла, стараясь далеко запрятать под него свои ноги, и прикрывал ладонями прорванные колени. Он растерянно улыбался, поминутно краснел и вытирал рукавом вспотевшее лицо.

Когда лакей вышел, Савинов подвинул к Ильину водку и сказал ласково:

– Пейте, голубчик, не стесняйтесь меня. Я знаю, что это вам теперь необходимо.

Горлышко графина звенело о стекло рюмки, когда Ильин наливал водку. Опрокинув дрожащей ру-

кой водку в рот, он долго ее не проглатывал, сморщив лицо в брезгливую гримасу; потом сразу проглотил с каким-то особенно громким звуком, сморщился еще сильнее и часто-часто задышал через полусжатые губы, точно отдуваясь от чего-то горячего. Теперь, при свете огня, Савинов хорошо рассмотрел его лицо. Оно страшно отекло от скул до подбородка; щеки и угреватый нос были покрыты мелкой сетью красных извилинок и маленьких вздутых синих жилок. Пиджак был у ворота заколот булавкой, и белья под ним не замечалось. От всех этих лохмотьев шел какой-то грязный, маслянистый запах, похожий на запах замазки с примесью скверного табака.

– Простите... я с похмелья, – потянулся Ильин за другой рюмкой.

– Пожалуйста, пожалуйста, голубчик. Я ведь нарочно для вас...

По мере того как Ильин пил рюмку за рюмкой, лицо его, к удивлению Савинова, мало-помалу принимало более нормальный вид, руки перестали трястись, голос прояснился, глаза стали живее и точно расширились. Ел он жадно и неряшливо, запихивая в рот большие куски и чавкая, как едят наголодавшиеся и отвыкшие от приличного стола люди. Чтобы не смущать его, Савинов нарочно уселся так, что между ним и Ильиным приходилась высокая лампа с длинным висячим

красным абажуром.

– Хотите еще? – спросил он, когда Ильин окончил есть и обтер губы наружной стороной рукава.

– Нет, мерси. Благодарствуйте. Сыт. А вот если папиросочку...

Он закурил, глубоко и поспешно затянулся несколько раз подряд, и вдруг рассмеялся продолжительным тихим смехом.

– Чему это вы? – спросил Савинов.

– Да вот гляжу я на вас, Иван Григорьевич (Ильин и в самом деле выглянул из-за абажура), и вижу, что вам хочется спросить меня: «Как дошла ты до жизни такой?» Только деликатность не позволяет... Правда ведь? А? Ха-ха-ха...

– Поверьте, что я не хочу быть нескромным, – вежливо возразил Савинов.

– Ну, что там за нескромность... со мной-то? Да, кроме того, мне и самому хочется рассказать. Почему знать, может быть, вы, когда все узнаете, не презрение ко мне почувствуете, как к попрошайке уличному, а пожалеете... Ту конетр¹... как это дальше? Ну, да черт с ним, все равно... Слушайте мою исповедь, господин Савинов.

Ильин поискал глазами пепельницу и, не найдя ее, потихоньку, чтобы не видел Савинов, потушил папи-

¹ Все узнать... (франц.).

росу об ножку стула и спрятал окурок из вежливости в карман.

– Как это пишут смешно в романах: «В зале воцарилась мертвая тишина. Полковник закурил свою трубку, провел рукой по длинным седым усам и, глядя на огонь камина, начал...» Так ведь? Ха-ха-ха...

Он отрывисто рассмеялся, потом помолчал несколько секунд, и, когда опять начал говорить, в его голосе совсем неожиданно послышались горькие, грустные, искренние ноты.

– Замотала меня женщина, Иван Григорьевич. Женщина – и моя собственная глупость. Вы, может, слышали, каков я в академии был? Одно слово – анахорет. Только в искусство да в труд и верил. Этого сочинителя, что сказал, будто гений может озарять голову безумца, гуляки праздного, я бы тогда, кажется, на части разорвал... Как лошадь работал...

– У вас был замечательный талант, Ильин, – мягко вставил Савинов.

– Был! Верно! – Ильин горячо ударил себя в грудь кулаком. – И я знаю, что был. Я в себя всех больше верил. В звезду свою верил, черт побери! Совершенства добивался. Всего себя этому проклятому искусству закабалил. Кошачьей колбасой питался, идиот, на чердаках мерз. Другие умней были: тот иллюстрации, тот – виньетки, тот – карикатурки... У них

веселье, попойки, на острова поехали, женщины, Хотот, а я сижу, завернувшись поверх пальто в одеяло, и теорию перспективы изучаю. Трогательно!.. Виньетки-то за позор считал. Как же, помилуйте, унижение искусства, профанация!..

Ильин опять рассмеялся, но смех перешел в спазматический кашель, который длился минут пять. Отдышавшись, он продолжал:

– Отправили меня в Рим. Ведь вы там, конечно, были, Иван Григорьевич? Господи, красота-то, красота какая! Воздух прозрачный, небо синее-синее, краски на всем такие сочные, горы, платаны, развалины... хорошо! На что уж я всегда был лют на работу, а тут прямо осатанел. Бегаю целый день по галереям и по дворцам, копирую стариков, набрасываю этюды, пишу с натуры. Удивительно, как на это одного человека хватало. При этом, заметьте, паек самый скудный кусок хлеба с сыром овечьим и стакан доброй старой воды, вот и все.

Потом, однако, угомонился, в русло вошел, стал подыскивать сюжет для картины. И нашел. Знаете, в этом роде, который нынче называют символическим (мне ведь тоже время от времени нет-нет да попадет в руки клочок газеты). Вообразите себе ниву, созревшую, спелую ниву, но всю истоптанную во вчерашнем сражении. Брезжит раннее утро, на востоке янтарная

полоса, луна побледнела... А на nive лужи крови, обломки оружия, трупы человечьи и лошадиные, вдали мерцают огни лагеря... И вот среди этой крови и этого ужаса медленно плывет туманная фигура Христа, с опущенной вниз головой и опечаленным ликом... Недурно ведь? А?

– Хорошо. Очень хорошо! – искренно воскликнул Савинов.

– Начал я работать. А у меня в то время была общая студия с одним тоже русским, Курбатовым. Он был пейзажист, – милый человек и необыкновенно талантливый. Царство ему небесное (Ильин перекрестился): в первый же месяц, как приехал в Россию, умер от скоротечной чахотки... Счастливец!.. Ну-с, завязались у нас кое-какие знакомства с тамошним народишком, стали нами как будто интересоваться, оценили нас. В студии всегда, бывало, разные людишки болтаются. Сперва больше свой брат художник, а потом повалила и публика: знатные иностранцы и всякие путешественники. Даже один герцог какой-то посетил, ей-богу, не вру, Иван Григорьевич.

И вот однажды получаю я через комиссионера две визитных карточки. Какой-то князь Дуз-Хацимовский, генераль ан ретре², с женой Натальей Фаддеевной очень обо мне наслышаны, горят желанием видеть

² Генерал в отставке (от франц. en retraite).

мою замечательную картину и потому покорнейше просят, не найду ли я возможным быть дома от двенадцати до двух часов. Я предупредительно соглашаюсь. В назначенное время являются. Генерал ничего себе – солидный генерал, басит, растягивает слова и отторбучивает нижнюю губу. Усы нафиксатуарены, яркий галстук, однако видно, что ножки сильно пошаливают. Он меня, конечно, «обласкал» и обещал покровительство. На нее я сначала не обратил внимания, потому что меня все заговаривал генерал. Вижу только – худая, гибкая, с великолепными рыжими волосами. Покамест я перед его превосходительством расшаркивался, она всё мои альбомы с эскизами рассматривала. Нехорошая это привычка, нескромная – все равно что в чужую записную книжку заглядывать, – ну, да что же поделаешь – терпи! Потом вдруг подзывает меня к себе. «Мсье Ильин, вы, должно быть, никогда не были влюблены?» Я оторопел. «Почему вы так думаете, мадам?» – «В вашем альбоме я не нашла следов любви». Я недоумеваю еще больше: «Виноват, какие же это следы?» «Да мало ли какие: на каждой странице один и тот же профиль, одни и те же инициалы, строчки, написанные женской рукой... Ну? Права я или нет?»

И поглядела на меня. Знаете, Иван Григорьевич, – странная вещь: я лицо ее совершенно – ну, совсем-та-

ки забыл, и никак не могу его себе представить, даже не знаю, была ли она дурна или хороша собою, а этот взгляд вот как теперь вижу. Бесстыжий, понимаете ли, открыто бесстыжий, и хищный, и насмешливый, и манящий, до безумия манящий. И вся она, как вино, бросилась мне в голову со своим змеиным телом, с рыжими волосами, с каким-то пряным запахом духов. И почувствовал я, что с этого момента «кончено мое земное странствие...»

А она все смотрит и глазами играет. «Я, говорит, сама немного рисую. Вы мне позволите иногда запросто заходить к вам посмотреть и поучиться? Папочка, ты позволишь?» Это она к генералу. Папочка позволяет с добродушной снисходительностью взрослого к капризу ребенка. «Ну, так я завтра зайду в это же время. Жаль, что вашего товарища в эти часы не бывает, я бы с ним охотно познакомилась». Ведь какова дерзость-то, Иван Григорьевич! Я ей об товарище решительно ни словечка не сказал, а она вдруг: «Жаль, что в эти часы не бывает». Да еще подчеркивает так, что и глухой понял бы и догадался на другой день убрать товарища куда-нибудь подальше.

И пошло писать! Подхватило меня, как соломинку ураганом, и понесло. Другой бы на моем месте остановился, а меня мое анахоретство сгубило. Нет у таких, как я, ни конца, ни краю! Все в этом проклятом во-

двороте пропало: и силы непочатые, и честь, и здоровье, и талант. Не прошло и двух недель, как я перед ней пресмыкался гадом ползучим, за одну улыбку готов был идти на бесчестье, на преступление. И до того этой слепой любовью я ей опротивел, что она уж и стыдиться со мной перестала, всю свою циничную душонку передо мной наизнанку выворачивала. Знаете ли, дорогой Иван Григорьевич, я человек тертый, всякого народу на своем веку видал, во всех степенях падения – и воришек, и бродяг, и осторожных, и каторжных. Но, клянусь вам, никогда и нигде я не встречал такой черствой, такой глубоко безнравственной натуры!..

Она гнала меня прочь – я возвращался, униженный, раболепный. Один раз она мне крикнула в бешенстве: «Убирайся вон! Ты нищий! Ты мне ни зачем не нужен!» Я ушел, продал свою картину за три тысячи (давно к ней подъезжал один американец), возвратился и швырнул ей в лицо сверток с золотом. За это я был любим целую неделю. С тех пор началась сумасшедшая погоня за деньгами, грошовые заказы, иллюстрации, самодурство меценатов – все, что хотите!

Как я ревновал ее, как мучился – ужасно, ужасно! (Ильин вдруг закрыл лицо руками и с минуту сидел молча, раскачиваясь телом взад и вперед.) Я все терпел... Сначала папский гвардеец, потом идиот-тенор,

потом какой-то красавец итальянский еврей из коммивояжеров... Я должен был им улыбаться и оказывать им такие услуги, которые обыкновенно возлагаются на слуг.

Горько мне было, тяжело... А компания всегда под боком... Напьешься – оно сначала как будто и весело, забудешься на минутку, споришь о чем-то, шумишь, обнимаешься с собутыльником. Потом слезы. Прижмешься к чьей-то засаленной груди и рыдаешь, и раскрываешь сердце какому-нибудь сапожнику. Это дело я очень скоро постиг.

Что дальше пошло, я и сказать не умею. Все в пьяном угаре было. Ездил я за ней следом и в Ниццу, и в Вену, и в Швейцарию, и в Париж. Меня уж больше не принимали, так я под окошками целые ночи простаивал. В Петербург, наконец, приехали. Как-то не утерпел я, пьяный к ним в дом ворвался. Вывели с участием полиции, а потом – генерал был все-таки со связями – и вовсе выселили административным порядком.

Вот я и мыкаюсь с тех пор, Иван Григорьевич. До вывесок спустился, до малярных работ. Да ведь сами посудите, где же пьяного будут держать? Барки пробоval грузить – силишки не хватает. Как-то раз на одной постоялке кто-то мне и говорит: «Да ты бы, братец, хоть стрелять выучился». – «Как это стрелять?» – «А так, очень просто: милостивый господин, не отка-

жите помочь бывшему студенту, или там хоть артисту, или художнику, разбитому параличом и обремененному многочисленным семейством...» Трудно было сначала, совестно... Ну, а потом... ко всему на свете привыкнешь... Да и что мне, Иван Григорьевич... – в голосе Ильина послышались глухие рыдания, – что мне в том, если бы вдруг каким-нибудь чудом мое положение изменилось, если бы я даже получил возможность писать, как писал двадцать лет тому назад! Зачем мне все это, если она для меня навсегда потеряна? Понимаете ли, навсегда, навсегда, навсегда...

Он опять закрыл лицо руками и, весь сотрясаясь, раскачивался взад и вперед. Савинов спрятался за лампу и украдкой вытирал глаза платком. Вдруг Ильин стремительно сорвался с места и протянул Савинову руку.

– Прощайте, – злобно и отрывисто произнес он. – Извините, что расстроил. Прощайте.

Савинов встал и обеими руками крепко взял Ильина за плечи.

– Слушайте, голубчик, – заговорил он нежно. – Дайте мне слово, что вы завтра утром зайдете ко мне. Я теперь не даю вам денег только потому, что вы слишком возбуждены. Но ведь вам нетрудно будет от меня принять маленькую помощь, ну, хоть на одежду, на квартиру?

– Нет. От вас легко, Иван Григорьевич, – пробормотал Ильин, не подымая глаз.

– Так придете завтра?

– Да.

– Ну, господь вас храни. – Савинов крепко пожал Ильину руку. – До свидания. Милый вы, добрый, несчастный вы человек.

Он запер за Ильиным дверь, снял пиджак и жилет и уже сел на кровать, чтобы снять сапоги, как с улицы кто-то сильно постучал в оконное стекло. Савинов подбежал к окну и, увидев, Ильина, отворил форточку.

– Что вам, Ильин? – спросил он тревожно.

На Ильине лица не было. Страшно бледный, с перекошенным лицом и воспаленными глазами, он весь с ног до головы трясся, точно в ознобе.

– Не надо... квартиры... – услышал Савинов хриплый, прерывающийся голос. К черту... благодеяния... Трешницу... только трешницу... Не могу, душа горит... истерзался весь... Забыть не могу!..

Савинов вздохнул и молча стал отыскивать бумажник.